

ЛЕОПОЛЬД ФОН
ЗАХЕР-МАЗОХ

Венера в мехах

PRANG
STOCK

АЗБУКА-КЛАССИКА



Леопольд фон Захер-Мазох

Венера в мехах

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=158340
Венера в мехах: Азбука, Азбука-Аммикус; СПб.: 2012
ISBN 978-5-389-04234-6

Аннотация

Скандально знаменитая книга австрийского писателя Леопольда фон Захер-Мазоха «Венера в мехах» (1870) прославилась тем, что стала первой отчетливой попыткой фиксации и осмысления сексуально-психологического и социокультурного феномена мазохизма.

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.

23

Леопольд фон Захер-Мазох

Венера в мехах

Leopold von Sacher-Masoch
1836—1895

*И покарал его Господь и
отдал его в руки женщины.
Кн. Юдифи, 16, гл. 7.*

У меня была очаровательная гостя.

Перед большим камином в ренессансном стиле, против меня, сидела Венера. Но не какая-нибудь дама полусвета, воюющая под этим именем с противоположным полом – наподобие «мадемуазель Клеопатры», – а самая что ни на есть настоящая богиня любви.

Она сидела в кресле, а перед ней в камине пылал яркий огонь, отблески которого играли на бледном лице с невидящими глазами статуи, а порой выхватывали из тьмы и беломраморные ноги, когда она протягивала их к огню, стараясь согреть.

Головка богини поражала дивной красотой, несмотря на мертвые каменные глаза; но, кроме этой головки, я ничего не видел: небожительница закутала свое мраморное тело в роскошные меха и, вся дрожа, сидела свернувшись в комочек, как кошка.

Мы беседовали.

* * *

– Я вас не понимаю, сударыня, – воскликнул я, – право же, холода давно прошли! Вот уже две недели как стоит восхитительная весна. У вас, верно, просто нервы разыгрались.

– Что это за весна! – отозвалась она своим глубоким каменным голосом и тотчас же вслед за этими словами божественно чихнула, даже два раза. – Этого положительно сил нет выносить, и я начинаю понимать...

– Что, милостивая государыня?

– Я начинаю верить невероятному, понимать непостижимое. Мне вдруг становится понятной и пресловутая германская женская добродетель, и прославленная немецкая философия, – и я перестаю удивляться тому, что любить вы, северяне, не умеете, что вы и отдаленного представления не имеете о том, что такое любовь...

– Позвольте, однако, сударыня!.. – воскликнул я, всплыв. – Я положительно не дал вам никакого повода...

– Ну, вы другое дело! – Божественная чихнула в третий раз и с неподражаемой грацией повела плечами. – Так ведь и я была к вам неизменно благосклонна – настолько, что время от времени даже наношу вам визиты. Правда, всякий раз при этом, несмотря на все мои меха, немилосердно простуживаюсь. А помните нашу первую встречу?

– Еще бы! Разве такое забывается! – ответил я. – У вас были тогда пышные каштановые локоны, и карие глаза, и ярко-розовые губы, но я тотчас же узнал вас по овалу лица и по этой мраморной бледности... Вы всегда были одеты в фиолетовый бархатный жакет с беличьей оторочкой.

– Да, вы были без ума от этого туалета... И схватывали все буквально на лету!

– Благодаря вам я понял, что такое любовь. Вы были главной жрицей на жизнелюбивых мессах, во время которых я забывал о двух тысячелетиях...

– А как беспримерно верна я вам была!

– Ну, что касается верности...

– Неблагодарный!

– То не был упрек. Вы, воистину, небожительница, однако, как всякая женщина, в любви вы жестоки.

– Вы называете жестокостью то, – с живостью возразила богиня любви, – что составляет главную сущность чувственности, веселой и радостной любви, – то, что составляет природу женщины: отдаваться, любя, и любить все, что нравится.

– Да разве может быть что-нибудь более жестокое для любящего, чем неверность возлюбленной?

– Ах, так ведь мы и верны, покуда любим! – воскликнула она. – Но вы требуете от женщины, чтобы она была верна, когда и не любит, чтобы она отдавалась, даже если это и не доставляет ей наслаждения. Кто же более жесток, мужчина или женщина? Вы, северяне, вообще понимаете любовь слишком серьезно и сурово. Вы толкуете о каких-то обязанностях там, где речь может идти только об удовольствиях.

– Это верно, сударыня, – однако взамен того у нас такие почтенные и добродетельные чувства и такие длительные союзы...

– И одновременно – это вечное жадное, ненасытное стремление к языческой наготе, – вставила она. – Но любовь как высшая радость, воплощенное божественное веселье – это не про вас, современных детей рефлексии. Вам такая любовь приносит одно несчастье. Желая быть естественными, вы впадаете в пошлость. Природа представляется вам чем-то враждебным, из нас, смеющихся богов Греции, вы сделали каких-то злых демонов, меня же представили дьяволицей. Мне достаются от вас одни попреки и проклятия, – или же, в порыве вакхического безумия, вы сами готовы *заклать себя как жертву на моем алтаре*. А если вдруг у кого-нибудь из вас достанет мужества поцеловать мои алые уста, он тотчас бежит искупать это паломничеством в Рим, босиком и в покаянном рубище, ожидая, чтоб высохший посох дал зеленые ростки, – тогда как под моими ногами вечно прорастают живые розы, фиалки и зеленый мирт, но вам не дано упиваться их ароматом. Оставайтесь же среди вашего северного тумана, в дыму христианского фимиама, – а нас, язычников, оставьте под грудой развалин, под застывшими потоками лавы, не откапывайте нас! Не для вас были воздвигнуты наши Помпеи, наши виллы, наши термы, наши храмы – не для вас! Вам не нужно богов! Мы гибнем в вашем холодном мире.

Мраморная красавица закашляла и плотнее запахла темный соболий мех, облежавший ее плечи.

– Благодарю за преподанный классический урок, – ответил я. – Но вы ведь не станете отрицать, что по своей природе мужчина и женщина – и в вашем веселом, залитом солнцем мире, точно так же, как в нашем туманном, – враги; что любовь только на краткое время сливает их в единое существо, живущее единой мыслью, единым чувством, единой волей, чтобы потом тем решительнее развести их. И тогда – это вам известно лучше, чем мне, – тот, кто не сумеет подчинить другого себе, и оглянуться не успеет, как почувствует ярмо на своей шее.

– Притом, как правило, ярмо возлагается именно на мужчину! – воскликнула мадам Венера насмешливо и высокомерно. – Это-то уж *вы* лучше меня знаете.

– Конечно. Вот потому-то я и не строю себе иллюзий.

– То есть вы теперь мой раб без иллюзий... и я за то без сострадания буду попирать вас ногами...

– Сударыня!

– Разве вы до сих пор меня не знаете? Ну да, я жестока, – раз уж это слово доставляет вам такое удовольствие. И разве у меня нет на это права? Мужчина жадно стремится к обладанию, женщина – предмет этих стремлений; это ее единственное, но зато исключительное преимущество. Мужчина, обуреваемый страстью, находится целиком во власти женщины, и

та, которая не сумеет сделать его своим подданным, своим рабом, более того – своей игрушкой, чтобы затем со смехом изменить ему, – такая женщина просто неумна.

– Ваши принципы, глубокоуважаемая... – начал я, возмущенный.

– ...покоятся на тысячелетнем опыте, – насмешливо перебила меня божественная, перебирая белыми пальцами темный мех. – Чем более преданна женщина, тем скорее наступает отрезвление у мужчины, который незамедлительно превращается в тирана. Напротив того, чем более жестокой и неверной выкажет себя женщина, чем грубее она с ним обращается, чем легкомысленнее играет им, чем более к нему безжалостна, тем сильнее разгорается сладострастие мужчины, тем больше он ее любит, боготворит. Так было от века во все времена – от Елены и Далилы и до Екатерины II и Лолы Монтец.

– Не могу отрицать, – сказал я, – для мужчины нет ничего пленительнее образа прекрасной, сладострастной и жестокой женщины-деспота, весело, надменно и безумно, по первому капризу меняющей своих любимцев...

– И облаченной к тому же в меха! – воскликнула богиня.

– Как это пришло вам в голову?

– Мне известны ваши пристрастия.

– Но, знаете ли, – заметил я, – с тех пор, как мы с вами не виделись, вы стали большой кокеткой...

– О чем это вы, позвольте спросить?

– О том, что для вашего белоснежного тела нет и не может быть более великолепного обрамления, чем этот покров из темного меха, и что он...

Богиня засмеялась.

– Вы грезите! – промолвила она. – Проснитесь-ка! – И она схватила меня за руку своей мраморной рукой. – Да проснитесь же! – воскликнула она низким, грудным голосом.

Я с усилием открыл глаза.

Я увидел тормозившую меня руку, но рука эта оказалась вдруг темной, как из бронзы, и голос был сиплым, пьяным голосом моего денщика, стоявшего предо мной во весь свой почти сажженный рост.

– Да вставайте же! Что это? Срам какой!

– Что такое? Почему срам?

– Срам и есть – заснуть одетым, да еще за книгой! – Он снял нагар с оплывших свечей и поднял выскользнувшую из моих рук книгу. – Да еще за сочинением (он открыл крышку переплета) Гегеля... И потом, давно пора уж к господину Северину ехать, он к чаю нас ждет.

* * *

– Станный сон!.. – проговорил Северин, когда я кончил рассказ. Облокотившись на колени, он обхватил лицо своими тонкими руками с нежными прожилками и глубоко задумался.

Я знал, что он долго так просидит, не шевелясь, почти не дыша; так это действительно и было. Меня не поражало его поведение – ведь мы уже почти три года как были добрыми друзьями, и я успел привыкнуть ко всем его странностям.

А странным его и вправду можно было назвать, пусть он и вполովину не оправдывал той славы опасного безумца, каковую имел не только среди ближайших соседей, но и во всей Коломее. Я же проявлял к Северину не только интерес, за который прослыл среди соседей немножко свихнувшимся, – весь этот человек был мне в высшей степени симпатичен.

Для мужчины его положения и возраста – а он был галицийский дворянин и помещик, чуть за тридцать, – Северин выказывал себя на удивление трезвомыслящим человеком; его серьезность граничила с педантизмом. В основу своей жизни он положил полуфи-

лософскую-полупрактическую систему, которой скрупулезно следовал, живя не только по этой системе, но одновременно также еще и по часам, по термометру, по барометру, по аэрометру, по гигрометру. Временами, однако, у него случались припадки страстности, во время которых всякий, глядя на него, считал его способным головой стену прошибить и тщательно избегал его, боясь попасться ему на дороге.

Пока он так долго сидел в молчанье, кругом раздавались разнообразные звуки: потрескивал в камине огонь, пытел большой почтенный самовар, поскрипывало старое прадедовское кресло, в котором я, покачиваясь, курил свою сигару, трещал сверчок в стенах старого дома, — и глаза мои бесцельно блуждали по странной, оригинальной утвари, по скелетам животных, по чучелам птиц, по глобусам и гипсовым фигурам, которыми загромождена была его комната.

Вдруг мне на глаза случайно попала картина. Я часто видел ее и раньше, но отчего-то теперь я не мог оторвать от нее глаз: такое неизъяснимое впечатление произвела она на меня в эту минуту, освещенная красным отблеском пламени в камине.

На ней была изображена прекрасная женщина, с лучистой улыбкой на тонком, нежном лице, с пышной массой волос, собранных в античный узел, и с легким налетом белой пудры на них; опершись на левую руку, она сидела на оттоманке нагая, завернутая в меховой плащ, правая рука ее играла *хлыстом*, а обнаженная нога небрежно опиралась на спину мужчины, простершегося перед ней ниц, подобно рабу или верному псу.

И этот мужчина, с резкими, но правильными и красивыми чертами лица, с выражением затаенной тоски и беззаветной страсти поднимавший к ней горячий мечтательный взгляд мученика, этот мужчина, служивший для красавицы подножной скамейкой, — был сам Северин. Только без бороды — по-видимому, лет на десять моложе нынешнего.

— *Венера в мехах!* — воскликнул я, указывая на картину. — Такой я и видел ее во сне.

— Я тоже... — отозвался Северин. — Только я видел свой сон открытыми глазами.

— Как так?

— Ах, это очень глупая история.

— Твоя картина, вероятно, и послужила поводом для моего сна, — сказал я. — Ты должен мне рассказать, однако, что у тебя связано с этой картиной. Несомненно, она играла какую-то роль в твоей жизни, и, по-видимому, роль ключевую... Надеюсь, ты не утаишь от меня подробностей.

— Взгляни-ка на другую, ее *pendant*, — сказал мой странный друг, не обращая внимания на мои слова.

Другая представляла превосходную копию известной тичиановской «Венеры с зеркалом» из Дрезденской галереи.

— Ну, что же ты хочешь сказать своим сопоставлением? — Северин встал и указал на мех, в который Тициан облек свою богиню любви.

— Здесь тоже «Венера в мехах», — сказал он с тонкой улыбкой. — Не думаю, чтобы старый венецианец сделал это намеренно. Вероятно, он просто писал портрет какой-нибудь знатной Мессалины и был так любезен, что заставил Амура держать перед ней зеркало, в котором она с холодным удовольствием исследует свои величавые прелести; Амуру же, по-видимому, эта работа не очень по нутру.

Эта картина — сплошная лесть в красках. Впоследствии какой-нибудь «знаток» эпохи рококо окрестил эту даму именем Венеры, и меха деспотической красавицы, в которые закуталась прекрасная натурщица Тициана, наверное не столько из целомудрия, сколько из боязни схватить насморк, сделались символом тирании и жестокости, таящихся в женщине и в ее красоте.

Но дело не в этом. Тициановская картина сама по себе является самой едкой, злой сатирой на нашу любовь. Венера, вынужденная на нашем погрязшем в рефлексах Севере, в ледяном христианском мире, кутаться в просторные, тяжелые меха – чтобы не простудиться!..

Северин засмеялся и закурил новую сигарету.

В эту самую минуту скрипнула дверь и в комнату вошла, неся нам к чаю холодное мясо и яйца, красивая полная блондинка, с умными приветливыми глазами, одетая в черное шелковое платье. Северин взял одно яйцо и разбил его краем ножа.

– Говорил я тебе, чтоб яйца были всмятку?! – крикнул он так резко, что молодая женщина вздрогнула.

– Но... Севчу, милый!.. – испуганно пробормотала она.

– Что «Севчу»? – закричал он снова. – Слушаться ты должна, понимаешь? Слушаться меня!

И он сорвал со стены кончук¹, висевший рядом с его оружием. Как пугливая лань бросилась хорошенькая женщина к двери и быстро выскользнула из комнаты.

– Ну, подожди... еще попадешься мне! – крикнул он ей вслед.

– Что с тобой, Северин! – сказал я, тронув его за руку. – Как можно так обращаться с этой очаровательной малышкой!

– Да ты посмотри на нее, – возразил он, шутливо подмигнув. – Если бы я с ней любезничал, она бы тут же заарканила меня, – а так, когда я ее воспитываю кончуком, она на меня молится...

– Полно тебе молоть чепуху!

– Это ты несешь вздор. Женщин необходимо дрессировать таким образом.

– По мне, так живи себе, если угодно, как паша в своем гареме, но не навязывай мне никаких теорий...

– Почему бы и не потеоретизировать? – с живостью воскликнул он. – Знаешь гётевское: «Ты должен быть либо молотом, либо наковальней»? Ни к чему это не применимо в такой мере, как к отношениям между мужчиной и женщиной; об этом тебе, между прочим, толковала и мадам Венера в твоём сне. На страсти мужчины основано могущество женщины, и она отлично умеет воспользоваться этим, если мужчина оказывается недостаточно предусмотрительным. Перед ним один только выбор – быть либо тираном, либо рабом. Стоит ему поддаться чувству на миг – и шея его уже окажется в ярме, и он тотчас почувствует на себе кнут.

– Диковинная теория!

– Не теория, а практика, опыт, – возразил он, кивнув головой. – *Меня в самом деле хлестали кнутом*, это не шутка... Теперь я излечился. Хочешь узнать, как это все случилось?

Он встал и вынул из ящика своего массивного письменного стола небольшую рукопись, которую положил передо мной на стол.

– Ты прежде спрашивал меня о той картине, – сказал он. – Я давно уже должен тебе кое-что объяснить. Вот возьми, прочти!

Северин сел у камина спиной ко мне и глубоко задумался. Судя по выражению его лица, можно было подумать, что он грезит наяву. Снова в комнате все стихло, слышны были только треск дров в камине, тихое гудение самовара и стрекотание сверчка за старой стеной.

Я раскрыл рукопись и прочел:

«ИСПОВЕДЬ МЕТАФИЗИКА»

¹ Длинная плетка на короткой ручке. – Прим. авт.

На полях рукописи красовались, в качестве эпиграфа, видоизмененные известные стихи из Фауста:

«Тебя, метафизик, чувственник,
женщина водит за нос!
Мефистофель».

Я перевернул заглавный лист и прочел:

«Нижеследующее я составил по своим тогдашним заметкам в дневнике; непосредственно воспроизвести прошлое трудно, а так все сохраняет свою свежесть, правдивые краски настоящего».

* * *

Гоголь, этот русский Мольер, где-то говорит – не помню, где именно... ну, все равно, – что истинный юмор – это тот, в котором сквозь «видимый миру смех» струятся «незримые миру слезы».

Дивное изречение!

Порой, когда я пишу этот дневник, меня охватывает странное настроение.

Воздух кажется мне напоенным волнующими ароматами цветов, которые опьяняют меня и вызывают головную боль. В извивающихся струйках дыма мне чудятся образы маленьких седовласых кобальдов, насмешливо указывающих на меня пальцами. По подлокотникам моего кресла и по моим коленям, мнится мне, скользят верхом толстощекие амуры, – и я невольно улыбаюсь, даже громко смеюсь, записывая свои приключения... И все же я пишу не обыкновенными чернилами, а красной кровью, которая сочится у меня из сердца, потому что теперь вскрылись все его зарубцевавшиеся раны, и оно сжимается и болит, и то и дело каплет слеза на бумагу.

* * *

В ленивой праздности тянутся дни в маленьком курорте в Карпатах. Никого не видишь, никто тебя не видит. Скучно до того, что хоть садись идилии сочинять. У меня здесь столько досуга, что я мог бы написать целую галерею картин, мог бы снабдить театр новыми пьесами на целый сезон, для целой дюжины виртуозов написать концерты, трио и дуэты, но... что толковать! – в конце концов я успеваю только натянуть холст, разложить листы бумаги, разлиновать нотные тетради, потому что я...

Только без ложного стыда, друг Северин! Лги другим, но обмануть себя самого тебе уже не удастся. Итак, скажем правду: потому что я не что иное, как дилетант. Только дилетант – и в живописи, и в литературе, и в музыке, и еще кое в чем из тех так называемых хлебных искусств, жрецы которых получают от них нынче министерские доходы, а порой и положение маленьких владетельных князей... Ну и прежде всего я – дилетант в жизни.

Жил я до сих пор так же, как писал картины и книги, то есть я ушел не дальше грунтовки, планировки, первого акта, первой строфы. Бывают такие люди, которые вечно только начинают и никогда не доводят до конца; вот и я один из таких людей.

Но к чему вся эта болтовня?

К делу.

Я высовываюсь из окна и нахожу, в сущности, бесконечно поэтичным то гнездо, в котором я изнываю. Вид отсюда – на высокую голубую стену гор, облитую золотистым солнеч-

ным светом, вдоль которой извиваются стремительные каскады ручьев, словно серебряные ленты... Как ясно и синее небо, в которое упираются снеговые вершины; как зелены и ярко свежи лесистые откосы, луга с пасущимися на них стадами, вплоть до желтых волн зреющих нив, среди которых мелькают фигуры жнецов, то исчезая, нагнувшись, то снова выныривая.

Дом, в котором я живу, расположен среди своеобразного парка, или леса, или лесной чащи – это можно назвать как угодно; стоит он очень уединенно.

Никто в нем не живет, кроме меня и какой-то вдовы из Львова, да еще домовладелицы Тартаковской – маленькой, старенькой женщины, которая с каждым днем становится меньше ростом и старше, – да старого пса, хромающего на одну ногу, да молодой кошки, вечно играющей с тем же клубком ниток; а клубок ниток принадлежит, я полагаю, прекрасной вдове.

А она, кажется, действительно красива, эта вдова, и еще очень молода, ей не больше двадцати четырех лет, и очень богата. Она живет на втором этаже, а я на первом. Зеленые жалюзи на ее окнах всегда опущены, балкон – весь заросший зелеными вьющимися растениями. Зато у меня есть внизу милая, уютная беседка, обвитая диким виноградом, в которой я читаю, пишу, рисую, пою – как птица в ветвях.

Из беседки мне виден балкон. Иногда я поднимаю глаза к нему и время от времени вижу, как сквозь густую зеленую сеть мелькает белое платье.

В сущности, меня очень мало интересует красивая женщина там, наверху, потому что я влюблен в другую, и, надо сказать, до последней степени безнадежно влюблен – еще гораздо более безнадежно, чем рыцарь Тоггенбург и Шевалье в Манон Леско, – потому что моя возлюбленная... из камня.

В саду, там, в маленькой чаще, есть восхитительная лужайка, на которой мирно пасутся две-три ручные лани. На этой лужайке стоит каменная статуя Венеры – кажется, копия той, что находится во Флоренции. Эта Венера – самая красивая женщина, которую я когда-либо в жизни видел.

Это еще не так много значит, правда, – потому что я видел мало красивых женщин, я вообще мало видел женщин; я и в любви дилетант, никогда не уходивший дальше грунтовки, первого акта.

Но к чему тут превосходная степень – «самая красивая», – как будто то, что прекрасно, может быть превзойдено?

Довольно того, что эта Венера прекрасна и что я люблю ее – так страстно, так болезненно нежно, так безумно, как можно любить только женщину, неизменно отвечающую на любовь вечно одинаковой, вечно спокойной, каменной улыбкой. Да я буквально молюсь на нее.

Часто, когда солнце жаром своим пронизывает лесную чащу, я укладываюсь близ нее под сенью молодого бука и читаю; часто я посещаю мою холодную, жестокую возлюбленную и по ночам, – тогда я становлюсь пред ней на колени, прижавшись лицом к холодным камням, на которых покоятся ее ноги, и беззвучно молюсь ей.

Нет слов выразить эту красоту, особенно когда вдруг восходит луна – теперь она как раз близится к полнолунию – и плывет среди деревьев, и лужайка залита серебряным блеском... а богиня стоит, словно просветленная, и как будто купается в ее мягком сиянии.

Однажды, возвращаясь с такой молитвы, я заметил: в одной из аллей, ведущих к дому, мелькнула вдруг, отделенная от меня одной только зеленой шпалерой, женская фигура – белая, как мрамор, и облитая лунным светом. На мгновение меня охватило такое чувство, как будто моя прекрасная каменная богиня сжалилась надо мной и ожила и последовала за мной... И душу мне сковал безотчетный страх, сердце трепетало, словно готовое разорваться, – и вместо того чтобы...

Ну да ведь я дилетант. И как всегда, я застрял на втором стихе... Нет, я не застрял, наоборот, – я побежал прочь так быстро, как только хватало сил.

* * *

Вот ведь счастливый случай! У еврея, торговца фотографиями, оказался снимок с моего идеала! Небольшая репродукция – «Венера с зеркалом» Тициана... Что за женщина! Я напишу стихотворение. Нет! Я возьму листок и подпишу под ним: *«Венера в мехах»*.

Ты зябнешь – ты, сама зажигающая пламя! Закутайся же в свои деспотические меха, – кому они приличествуют, если не тебе, жестокая богиня любви и красоты!..

И через некоторое время я прибавил к подписи несколько стихов из Гете, которые я недавно нашел в его «Паралипоменах» к Фаусту.

«Амуру!
Обманчивые крылышки и стрелы —
не стрелы, а когти,
и венок прикрывает рожки.
Сомненья нет:
как все боги Греции, и он —
лишь замаскировавшийся дьявол».

Затем я поставил фотографию пред собой на стол, оперев ее о книгу, и принялся рассматривать изображение.

Холодное кокетство прекрасной женщины, с которым она драпирует свою красоту темными собольими мехами, строгость, жестокость, лежащая в дивных чертах мраморного лица, меня чаруют и в то же время внушают мне ужас.

Я снова берусь за перо, и вот что ложится на бумагу: «Любить, быть любимым – какое счастье! И все же как бледнеет очарование этого счастья перед полным муки блаженством – боготворить женщину, которая делает нас своей игрушкой, быть рабом прекрасной тиранки, безжалостно попирающей тебя ногами. Даже Самсон – этот великан – отдался еще раз в руки Далилы, изменившей ему, и она еще раз предала его, и филистимляне связали его в ее присутствии и выкололи ему глаза, пылающие яростью и светящиеся любовью, – глаза, до последнего мгновения прикованные к прекрасной изменнице».

* * *

Я завтракал в своей беседке и читал Книгу Юдифи и завидовал злому язычнику Олоферну: его кроваво-прекрасной кончине, его главе, отсеченной рукой той царственной красавицы.

«И покарал его Господь и отдал его в руки женщины».

Эта фраза поразила меня.

Как нелюбезны эти евреи, думал я. Да и сам Бог их! Мог же он выбрать поприличнее выражения, говоря о прекрасном поле!

«Бог покарал его и отдал в руки женщины», – повторил я про себя.

Что бы мне придумать, что совершить, чтобы он покарал меня?

Ах, ради бога... Опять является эта домохозяйка; за ночь она снова несколько сморщилась и стала еще немножко меньше. А там, наверху, опять что-то белеет меж зеленых ветвей...

Венера или вдова?

На этот раз вдова, потому что госпожа Тартаковская, сделав книксен, просит у меня от ее имени книг для чтения.

Я бегу к себе в комнату и быстро тащу со стола пару томов.

Слишком поздно уже я вспоминаю, что в одном из них лежит моя репродукция – Венера. И теперь она у белой женщины там, наверху, вместе со всеми моими излияниями.

Что-то она об этом скажет?

Я слышу: она смеется.

Не надо мной ли?

* * *

Полнолуние! Вон уже вышла луна из-за верхушек невысоких елей, окаймляющих парк, и серебристый свет заливает террасу, купы деревьев, все пространство окрест, насколько видит глаз, и мягко трепещет вдаль, словно зыбкая поверхность вод.

Что-то так странно манит, зовет меня... Я не в силах противиться. Одеваюсь снова и выхожу в сад.

Меня влечет туда, на лужайку, к ней – к моей богине, к моей возлюбленной.

Прохладная ночь. Я зябну от свежести. Воздух опьяняет тяжелым ароматом цветов, лесной чащи.

Как торжественно вокруг! Какая музыка ночи!.. Томительно рыдает соловей. Звезды тихо-тихо мерцают в бледно-голубой выси. Лужайка кажется гладкой, как зеркало, как ледяной покров пруда.

Светло и величаво высится предо мной статуя Венеры.

Но что это там темнеет?..

С мраморных плеч богини ниспадает до самых ступней ее длинное меховое одеяние...

Я стою в оцепенении, не сводя с нее глаз, – и снова чувствую, как меня охватывает тот неописуемый страх... и бегу прочь.

Я бегу торопливо, все ускоряя шаг, – и вдруг замечаю, что ошибся аллеей. Возвращаюсь, и только я вознамерился направиться в один из боковых зеленых коридоров, как лице-зрею сидящую прямо передо мной, на каменной скамье Венеру, мою прекрасную каменную богиню... нет! живую, настоящую богиню любви – из плоти и крови.

Да, она ожила для меня – как статуя Галатеи, начавшая дышать для своего творца... Правда, чудо совершилось только наполовину: еще из камня ее белые волосы, еще мерцают, как лунные лучи, ее белые одежды... или это атлас?.. А с плеч ниспадает темный мех... Но губы уже красны, и окрашиваются щеки, и из очей ее исходят и проникают в мои глаза два дьявольских зеленых луча. И вот она смеется!

О, какой это странный смех, неизъяснимый!.. У меня захватывает дух, и я бегу, бегу без оглядки, но через каждые несколько шагов вынужден останавливаться, чтобы перевести дух... А этот насмешливый хохот преследует меня через темные сплетения листвы, через озаренные светом дерновые площадки, сквозь чашу, в которую проникают одинокие лунные лучи... Я сбился, мечусь по дорожкам, не знаю, куда идти; на лбу у меня выступают крупные капли холодного пота.

Наконец я останавливаюсь и произношу краткий монолог.

Ведь наедине с самими собой люди всегда бывают или очень любезны, или очень грубы.

И вот я говорю себе:

– Осел!

Волшебное действие оказывает это коротенькое слово, точно заклинание, от которого вмиг рассеялись чары, и я наконец-то прихожу в себя.

Мгновенно я успокаиваюсь и удовлетворенно повторяю:

– Осел!

И вот я снова вижу все отчетливо и ясно.

Вот фонтан, вон буковая аллея, а вон там и дом. И я медленно направляюсь теперь к нему.

Вдруг – еще раз, внезапно – за зеленой стеной, залитой лунным сиянием, затканной серебром, – еще раз мелькнула белая фигура, прекрасная каменная женщина, которую я боготворю, которой я боюсь, от которой я бегу.

Два-три прыжка – и я дома, перевожу дух и задумываюсь.

Что же теперь? Что я такое: маленький дилетант или большой осел?

* * *

Знойное утро: душно, воздух напоен крепкими, волнующими ароматами.

Я снова сижу в своей беседке, увитой диким виноградом, и читаю «Одиссею». Читаю об очаровательной волшебнице, превращающей своих поклонников в свиней. Дивный образ античной любви.

Тихо шелестят ветви и стебли, шелестят листы моей книги, что-то шелестит и на террасе.

Женское платье...

Вот *она*, Венера, только без мехов... нет! теперь другая... это вдова!.. И все же... она. Венера! О, что за женщина!

Вот она предо мной – в легком белом утреннем одеянии – и смотрит на меня... Какой поэзией, какой дивной прелестью и грацией дышит ее изящная фигура!

Она не высока, но и не мала ростом. Головка – не строгой красоты, она скорее обаятельна, как головка французской маркизы XVIII столетия. Но как обворожительна! Мягкий и нежный рисунок не слишком маленького рта, чарующая шаловливость в выражении полных губ... кожа так нежно-прозрачна, что всюду сквозят голубые жилки – не только на лице, но и на закрытых тонкой кисеей руках и груди... роскошно вьющиеся волосы с красным отливом... да, волосы рыжи – не белокуры, не золотисты, – рыжи, но как демонически прекрасно и в то же время прелестно, нежно обвивают они затылок... Вот сверкнули ее глаза – словно две зеленые молнии... Да, они зеленые, эти глаза, с их неизъяснимым выражением, кротким и властным, – зеленые, но того глубокого таинственного оттенка, какой бывает в драгоценных камнях, в бездонных горных озерах.

Она заметила мое смущение, – а растерялся я до невежливости, до того, что забыл встать, снять головной удар.

Она лукаво улыбнулась.

Наконец я поднимаюсь, кланяюсь. Она подходит ближе и разражается звонким, почти детским смехом. Я что-то бормочу, запинаясь, – как только и может бормотать в такую минуту маленький дилетант или большой осел.

Так мы познакомились.

Богиня осведомилась о моем имени и назвала свое.

Ее зовут Ванда фон Дунаева.

И она действительно моя Венера.

– Но, сударыня, как пришла вам в голову такая идея?

– Мне ее подала картинка, лежавшая в одной из ваших книг...

– Я забыл ее там...

– Ваши странные заметки на обороте...

– Почему странные?

Она смотрела мне прямо в глаза.

– Мне всегда хотелось встретить настоящего мечтателя-фантаста... ради разнообразия... Ну а вы мне кажетесь, судя по всему, одним из самых безудержных...

– Многоуважаемая... в самом деле... – И я чувствую, что у меня опять глупо, идиотски спотыкается язык, и в довершение я краснею – так, как это еще прилично было бы шестнадцатилетнему юноше, но не мужчине, который почти на целых десять лет старше.

– Вы сегодня ночью испугали меня.

– Да, собственно, дело в том, что... не угодно ли вам, впрочем, присесть?

Она села, видимо забавляясь моим испугом, – а мне и в самом деле, даже теперь, среди бела дня, становилось все более и более страшно, – очаровательная усмешка тронула ее верхнюю губу.

– Вы понимаете любовь, – заговорила она, – и прежде всего женщину, как нечто враждебное, как то, от чего вы стараетесь, хотя и тщетно, защититься, но чью власть вы воспринимаете, однако, как сладостную муку, как щекочущую нервы жестокость. Взгляд вполне современный.

– Вы с ним не согласны?

– Я с ним не согласна, – подхватила она быстро и решительно и несколько раз покачала головой, отчего локоны ее зазмеились, как огненные струйки. – Для меня веселая чувственность эллинской любви – радости без страдания – идеал, который я стремлюсь осуществлять в личной жизни. Потому что в ту любовь, которую провозглашает христианство, которую проповедуют современные люди, эти рыцари духа, – в нее я не верю. Да, да, смотрите на меня. Я не только еретичка – гораздо хуже: я – язычница.

Не думала долго богиня любви,
Когда ей понравился в роще Анхиз.

Меня всегда восхищали эти стихи из римской элегии Гёте.

Естественна одна только такая любовь, любовь героической эпохи, та, которой «любили боги и богини». Тогда – «за взглядом следовало желание, за желанием следовало наслаждение».

Все иное – надуманно, неискренно, искусственно, аффектировано. Благодаря христианству – этой жестокой эмблеме его, кресту... душа моя содрогается ужасом от него... – в природу и ее безгрешные инстинкты были внесены элементы чуждые, враждебные.

Борьба духа с чувственным миром – вот евангелие современности. Я не принимаю его!

– Да, вам бы жить на Олимпе, сударыня, – ответил я. – Ну а мы, современные люди, не переносим античной веселости – по крайней мере, в любви. Одна мысль – делить женщину, хотя бы она была какой-нибудь Аспазией, с другими – нас возмущает; мы ревнивы, как наш Бог. И вот почему у нас имя очаровательной Фрины стало бранным словом.

Мы предпочитаем скромненькую, бледную гольбейновскую деву, принадлежащую только нам, – античной Венере, которая, как бы она ни была божественно прекрасна, любит сегодня Анхиза, завтра Париса, послезавтра Адониса. И если случится, что в нас одерживает верх стихийная сила и мы отдаемся пламенной страсти к подобной женщине, то ее жизнерадостная веселость нам кажется демонической силой, жестокостью, и в нашем блаженстве мы видим грех, который требует искупления.

– Значит, и вас привлекает современная женщина? Эта несчастная истеричка, которая как сомнамбула вечно бродит в поисках воображаемого идеала мужчины, в своем бреде не умея оценить лучшего мужчину, в вечных слезах и муках, ежеминутно изменяет своему христианскому долгу; мечется, обманывая, и обманывается сама; выбирает, покидает и снова бросается на поиски, не умея ни изведать счастье, ни дать счастье, и только клянет судьбу

– вместо того чтобы спокойно признаться себе: я хочу любить и жить, как любили и жили Елена и Аспазия.

Природа не знает прочных и длительных отношений между мужчиной и женщиной!

– Сударыня...

– Дайте мне договорить. Это мужчина в своем эгоизме стремится схоронить женщину, словно какое-то сокровище. Все попытки внести постоянство в самую изменчивую из всех изменчивых сторон человеческого бытия – любовь – посредством священных обрядов, клятв и договоров потерпели крушение. Можете ли вы отрицать, что наш христианский мир рушится?

– Но, сударыня...

– Но одинокие мятежные личности, восстающие против общественных устоев, изгоняются, предаются позору, забрасываются камнями... – вы это хотели сказать, конечно? Ну, хорошо. У меня достанет смелости прожить свою жизнь согласно своим языческим принципам. Я отказываюсь от вашего лицемерного уважения, я предпочитаю быть счастливой.

Тот, кто выдумал христианский брак, отлично сделал, выдумав одновременно и бессмертие. Но я нисколько не пекусь о жизни вечной: если с последним моим вздохом здесь, на земле, для меня как для Ванды фон Дунаевой все кончено – не все ли равно, воссоединится ли мой чистый дух в песнопении с хором ангелов, или же мой прах сольется в материю для новых существ?

А если я сама, такая, какая я есть, больше жить не буду – во имя чего же я стану отказываться от радостей? Принадлежать человеку, которого я не люблю, только потому, что я когда-то его любила? Нет! Я не хочу отречения – я буду любить всякого, кто мне нравится, и дам счастье всякому, кто меня полюбит. Разве это гадко? Нет. И уж во всяком случае, это гораздо красивее, чем если бы я стала упиваться мучениями, которые я причиняю, добродетельно отворачиваясь от бедняги, изнывающего от страсти ко мне. Я молода, хороша собой и богата – и живу для удовольствия, для наслаждения.

Она говорила, и глаза ее светились лукавством; я схватил ее руки, хорошенько не сознавая, для чего, но потом, как истинный дилетант, поспешно выпустил их.

– Ваша искренность восхищает меня, – сказал я, – и не одна она...

Опять все то же – проклятый дилетантизм сковал мне язык!

– Что же вы хотели сказать?

– Что я хотел?.. Да, я хотел... простите... сударыня... я перебил вас.

– Что такое?

Долгая пауза. Наверное, она произносит про себя целый монолог, который в переводе на мой язык исчерпывается одним-единственным словом: осел!

– Если позволите спросить, сударыня, – заговорил я наконец, – как вы дошли до... до этого образа мыслей?

– Очень просто. Мой отец был человек очень умный. Меня с самой колыбели окружали копии античных статуй, в десятилетнем возрасте я читала Жиль Блаза. В то время как большинство детей считают своими друзьями «Мальчика с пальчик», «Синюю бороду» и «Золушку», моими друзьями были Венера и Аполлон, Геркулес и Лаокоон. Муж мой был человек веселый, жизнерадостный; ничто не могло надолго омрачить его чело, даже неизлечимая болезнь, постигшая его вскоре после того, как мы поженились.

Даже в ночь накануне своей смерти он взял меня к себе в постель, а в течение долгих месяцев, которые он провел в своем кресле-каталке, он часто шутливо спрашивал меня: «У тебя уже есть поклонник?» Я сгорала от стыда.

А однажды он прибавил: «Не обманывай меня, это было бы гадко. А красивого мужчину себе найди, а лучше даже сразу нескольких. Ты чудесная женщина, но при этом еще наполовину ребенок, тебе нужны игрушки».

Излишне, надеюсь, было бы говорить, что, покуда он был жив, я поклонников не имела; но муж воспитал меня такой, какова я теперь: гречанкой.

– Богиней... – поправил я.

– Какой именно? – спросила она, улыбнувшись.

– Венерой!

Она погрозила мне пальцем и нахмурила брови.

– И даже «Венерой в мехах»... Погодите же, у меня есть большая-пребольшая шуба, в которую можно закутать вас целиком, я поймаю вас ею, словно сетью.

– Так вы полагаете, – заговорил я торопливо, поскольку меня осенила мысль, которая в ту минуту показалась мне, несмотря на всю свою простоту и банальность, очень дельной, – вы полагаете, что ваши идеи возможно реализовать в наше время? Что Венера может разгуливать во всей своей неприкрытой и радостной красоте в мире железных дорог и телеграфов?

– Неприкрытой? Конечно же нет! В мехах! – воскликнула она смеясь. – Хотите увидеть мои?

– И потом...

– Что же «потом»?

– Красивые, свободные, веселые и счастливые люди, какими были греки, возможны только тогда, когда существуют *рабы*, которые выполняют всю обыденную, повседневную работу и которые, прежде всего, прислуживают им.

– Разумеется, – весело ответила она. – И прежде всего целая армия рабов необходима олимпийской богине вроде меня. Берегитесь же!

– Почему?

Я сам испугался той смелости, с которой у меня вырвалось это «почему». Она же нисколько не испугалась; у нее только слегка приоткрылись губы, так что сверкнули маленькие белые зубы, и проронила вскользь, словно речь шла о чем-то таком, о чем не стоило и говорить:

– Хотите быть моим рабом?

– Любовь не знает разграничений, – ответил я торжественно и серьезно. – Но если бы я имел право выбора – властвовать или быть под пятой, – то мне показалась бы гораздо более привлекательной роль раба прекрасной женщины. Но где найти женщину, которая не добивалась бы превосходства посредством мелочной сварливости, а сумела бы властвовать спокойно, сознавая свою силу?

– Ну, это-то как раз не трудно.

– Вы полагаете?..

– Ну, я, например. – Она засмеялась, откинувшись на спинку скамьи. – У меня талант – быть деспотом... есть у меня и необходимые меха... Но вы сегодня ночью всерьез испугались меня?

– Вполне.

– А теперь?

– Теперь... как раз теперь-то и начинаю по-настоящему бояться вас!

* * *

Мы встречаемся теперь ежедневно, я и... Венера. Много времени проводим вместе, вместе завтракаем у меня в беседке, чай пьем в ее маленькой гостиной, и у меня есть прекрасная возможность развернуть все свои незначительные, весьма незначительные таланты. Для чего же я, в самом деле, учился всем наукам, пробовал силы во всех искусствах, если бы не сумел блеснуть перед маленькой хорошенькой женщиной?

Но эта женщина – отнюдь не маленькая и привлекает меня страшно. Сегодня я попробовал нарисовать ее – и только тут отчетливо понял, насколько не подходят современные туалеты к этой головке камеи. В чертах ее мало римского, но очень много греческого.

Мне хочется изобразить ее то в виде Психеи, то в виде Астарты, сообразно изменчивому выражению ее глаз – одухотворенно-мечтательному или же истомно-сладострастному, когда лицо ее пылает огнем желания. Она же предпочитает, чтобы я написал ее портрет.

Что ж, пусть будет так – я закутаю ее в меха.

О, как мог я колебаться хотя бы минуту! Кому, как не ей, пристало носить царственные меха?

* * *

Вчера вечером я был у нее и читал ей римские элегии. Потом, отложив книгу, начал импровизировать. Кажется, ей понравилось, даже более того: ее глаза были буквально прикованы к моим губам, и грудь ее прерывисто вздымалась.

Или мне это только показалось?

Дождь меланхолически стучал в оконные стекла, огонь мягко, по-зимнему, потрескивал в камине – я почувствовал себя так по-домашнему... На мгновение забыв свое почти-тельное обожание, я поцеловал руку красавицы, и она не рассердилась.

Тогда я сел у ее ног и прочел маленькое стихотворение, которое написал для нее.

Я молил в нем свою «Венеру в мехах», ожившую героиню мифа, дьявольски прекрасную женщину, мраморное тело которой покоится среди мирта и агав, положить свою ногу на голову ее раба.

На этот раз мне удалось пойти дальше первой строфы, но по ее повелению я отдал ей в тот вечер листок, на котором записал это стихотворение, и, так как копии у меня не осталось, теперь я могу припомнить его только в общих чертах.

Странное чувство владеет мною. Едва ли я влюблен в Ванду – по крайней мере, при первой нашей встрече я вовсе не испытал той молниеносной вспышки страсти, с которой обыкновенно и начинается влюбленность. Но ее необычайная, поразительная, поистине божественная красота мало-помалу околдовывает меня.

Чувство это не похоже и на возникающую сердечную привязанность. Это какая-то психическая порабощенность, усугубляющаяся медленно, постепенно, но тем полнее и бесповоротнее.

С каждым днем мои страдания становятся все сильнее, нестерпимее, а она – она лишь усмехается.

* * *

Сегодня она сказала мне вдруг, безо всякого повода:

– Вы меня интересуете. Большинство мужчин столь обыкновенны – в них нет вдохновения, пафоса, поэзии; а в вас есть известная глубина, энтузиазм и, главное, серьезность, которая мне нравится. Я могла бы вас полюбить.

* * *

После недолгого, но сильного грозового ливня мы отправились на лужайку, к статуе Венеры. Над землей подымался пар, клубы его неслись к небу, словно жертвенный фимиам; над нашими головами раскинулась разорванная радуга; ветви деревьев еще роняли капли

дождя, но воробьи и зяблики уже прыгали с ветки на ветку и возбужденно щебетали, словно чему-то радуясь. Воздух был напоен свежими ароматами.

Через мокрую лужайку трудно пройти; она вся блестит и искрится на солнце, словно маленький пруд, над подвижным зеркалом которого высится богиня любви, – а рой мошек вокруг ее головы в лучах солнца кажется живым ореолом.

Ванда наслаждается восхитительной картиной и, желая отдохнуть, опирается на мою руку, так как на скамьях в аллее еще не высохла вода. Все существо ее дышит сладостной истомой, глаза полужакрыты, дыхание ласкает мою щеку.

Я ловлю ее руку и – положительно не знаю, как я решился! – спрашиваю ее:

– Могли бы вы полюбить меня?

– Отчего нет? – отвечает она, остановив на мне свой спокойный и ясный, как солнце, взор. – Но ненадолго.

Через мгновение я уже стою перед ней на коленях, прижимаясь пылающим лицом к душистым складкам ее кисейного платья.

– Ну, Северин... ведь это неприлично!

Но я ловлю ее маленькую ногу и прижимаюсь к ней губами.

– Вы становитесь все неприличнее! – восклицает она, вырываясь, и быстро убегает в дом, оставив в моей руке свою милую, милую туфельку.

Что это? Знак свыше?

* * *

Весь день не решался я показаться ей на глаза. Перед вечером я сидел у себя в беседке, – вдруг обворожительная огненная головка мелькнула сквозь вьющуюся зелень ее балкона.

– Отчего же вы не приходите? – нетерпеливо крикнула она мне сверху.

Я взбежал на лестницу, но у самой двери меня вновь охватила робость, и я тихонько постучался. Сказав «войдите», она, однако, сама отворила дверь, остановившись на пороге.

– Где моя туфля?

– Она... я ее... я хочу... – бессвязно забормотал я.

– Принесите ее, потом мы будем вместе чай пить и поболтаем.

Когда я вернулся, она возилась за самоваром. Я торжественно поставил туфельку на стол и отошел в угол, как мальчишка, ожидающий наказания.

Я заметил, что у нее был немного нахмурен лоб и вокруг губ легла какая-то строгая, властная складка, которая привела меня в восторг.

Вдруг она звонко расхохоталась.

– Значит, вы... в самом деле влюблены... в меня?

– Да, и страдаю сильнее, чем вы думаете.

– Страдаете? – И она снова засмеялась.

Я был возмущен, пристыжен, уничтожен; но она ничего этого не заметила.

– Отчего же? – продолжала она. – Я отношусь к вам очень хорошо, сердечно.

Она протянула мне руку, посмотрев чрезвычайно дружелюбно.

– И вы согласитесь быть моей женой?

Ванда взглянула на меня... Не знаю, как бы это поточнее выразить... – прежде всего, думаю, изумленно, но притом и немного насмешливо.

– Откуда это вы вдруг столько храбрости набрались? – проговорила она.

– Храбрости?..

– Да, храбрости – жениться вообще и на мне в особенности? Так скоро вы подружились вот с этим? – Она подняла туфельку. – Но оставим шутки. Вы в самом деле хотите жениться на мне?

– Да.

– Ну, Северин, это дело серьезное. Я верю, что вы любите меня, я тоже люблю вас, более того – нам интересно друг с другом, нам не грозит, следовательно, опасность скоро наскучить друг другу. Но ведь я, вы знаете, легкомысленная женщина, потому-то я и отношусь к браку очень серьезно, и, беря на себя какие-нибудь обязанности, я хочу иметь возможность их исполнить. Но я боюсь... нет... вам будет больно услышать это.

– Будьте искренни со мной, прошу вас! – настаивал я.

– Ну, хорошо, скажу откровенно: я не думаю, чтоб я могла любить мужчину дольше, чем...

Она грациозно склонила головку набок, размышляя.

– Дольше года?

– Что вы говорите! Дольше месяца, вероятно.

– И меня не дольше?

– Ну, вас... вас, может быть, два.

– Два месяца! – воскликнул я.

– Два месяца – это очень долго.

– Сударыня, это более чем антично...

– Вот видите, вы не выносите правды.

Ванда прошла по комнате, потом вернулась к камину и, прислонившись к нему, оперлась рукой о карниз, молча глядя на меня.

– Что же мне с вами делать? – произнесла она несколько секунд спустя.

– Что хотите, – покорно ответил я, – все, что вам доставит удовольствие...

– Как вы непоследовательны! – воскликнула она. – Сначала требуете, чтобы я стала вашей женой, а потом отдаете мне себя, как игрушку.

– Ванда... я люблю вас!

– Так мы снова вернемся к тому, с чего начали. Вы любите меня и хотите, чтобы я была вашей женой, – но я не хочу вступать в новый брак, потому что сомневаюсь в прочности моих и ваших чувств.

– А если я хочу рискнуть, решившись на брак с вами?

– Тогда остается еще вопрос: хочу ли рискнуть я, – спокойно возразила она. – Я вполне допускаю, что могла бы отдаться одному на всю жизнь; но в таком случае это должен быть настоящий мужчина, который бы импонировал мне, который властно подчинил бы меня силой своей личности, – понимаете? А все мужчины – мне это хорошо известно! – едва только влюбятся, становятся слабыми, покладистыми, смешными, отдаются всецело в руки женщины, пресмыкаясь пред ней во прахе. Между тем я могла бы долго любить только того, перед кем мне самой пришлось бы ползать на коленях. Но вы мне так полюбились, что я... хочу попробовать.

Я бросился к ее ногам.

– Боже мой, вот вы уже и на коленях! – насмешливо произнесла она. – Хорошо же вы начинаете!

Когда я поднялся, она продолжила:

– Даю вам год сроку – чтобы покорить меня, чтобы убедить меня в том, что мы подходим друг другу, что мы можем жить вместе. Если вам это удастся, я буду вашей женой – притом такой женой, Северин, которая будет строго и добросовестно исполнять свои обязанности. В течение этого года мы будем жить, как в браке.

Кровь бросилась мне в голову. Загорелись и ее глаза.

– Мы поселимся вместе, у нас будет единый образ жизни – посмотрим, сможем ли мы ужиться. *Предоставляю вам все права супруга, поклонника, друга.* Довольны вы?

– Я должен быть доволен.

- Вы ничего не *должны*.
- Ну так я хочу...
- Превосходно. Это слова мужчины. Вот вам моя рука.

* * *

Десять дней как я не расстаюсь с ней ни на час, мы расходимся только на ночь, я могу непрерывно смотреть в ее глаза, держать ее руки, слушать ее речи, всюду сопровождать ее.

Моя любовь представляется мне глубокой, бездонной пропастью, в которую я погружаюсь все больше и больше, из которой меня уже никто не может спасти.

Сегодня днем мы улеглись на лужайке у подножия статуи Венеры. Я рвал цветы и бросал ей на колени, а она плела из них венки, которыми мы убирали нашу богиню.

Вдруг Ванда посмотрела на меня таким странным, затуманенным взглядом, что все существо мое вспыхнуло пламенем страсти. Потеряв самообладание, я обвил ее руками и прильнул губами к ее устам. Она крепко прижала меня к бурно вздымающейся груди.

– Вы не сердитесь? – спросил я.

– Я никогда не сержусь на то, что естественно. Я боюсь только, что вы страдаете.

– О, страшно страдаю...

– Бедный друг... – проговорила она, проведя рукой по моему лбу и откинув с него спутавшиеся пряди волос. – Но я надеюсь, не по моей вине?

– Нет... но все же моя любовь к вам превратилась в какое-то безумие. Мысль о том, что я могу вас потерять – и, возможно, действительно потеряю, – мучает меня день и ночь.

– Но вы ведь еще и не обладаете мной, – сказала Ванда и снова взглянула на меня тем трепетным, влажным, жадно-горячим взглядом, от которого кровь закипела в моих жилах.

Быстро поднявшись, она своими маленькими прозрачными руками возложила венок из синих анемонов на белую кудрявую голову Венеры. Не в силах более сдерживаться, я обнял ее за талию.

– Я не могу больше жить без тебя, моя красавица... Поверь же мне на этот раз, поверь – это не фраза, не фантазия! В душе чувствую, что моя жизнь связана с твоею. Если ты уйдешь, я зачахну, я погибну!

– Да ведь этого не случится, дурачок! Ведь я люблю тебя... глупый!

– Но ты соглашаешься быть моей лишь на каких-то условиях, в то время как я весь твой, весь и безусловно!

– Это нехорошо, Северин! – воскликнула она почти испуганно. – Разве вы еще не уяснили, какова я? Совсем не хотите понять меня? Я добра, пока со мной обращаются серьезно и благоразумно, но если мне отдаются слишком беззаветно, во мне пробуждается злое высокомерие...

– Пусть! Будь высокомерна, будь деспотична, – воскликнул я в экстазе, не помня себя, – только будь моей, совсем, навеки!

Я бросился к ее ногам и обнял ее колени.

– Это плохо кончится, друг мой! – серьезно сказала она, не пошевелившись.

– О, пусть этому никогда не будет конца, – возбужденно, страстно воскликнул я, – пусть только смерть нас разлучит! Если ты не можешь быть моей, совсем моей и на всю жизнь, *позволь мне быть твоим рабом*, служить тебе, все сносить от тебя, – только не отталкивай меня!

– Возьмите же себя в руки, – сказала она, склоняясь ко мне и целуя меня в лоб. – Я всей душой полюбила вас, но это неверный путь для тех, кто хочет покорить меня и удержать.

– Я сделаю все-все, – только бы не потерять вас! Потерять вас – этой мысли я не в силах перенести.

– Да встаньте же.

Я повиновался.

– Вы, право, странный человек. Значит, вы хотите обладать мной, чего бы это вам ни стоило?

– Да, чего бы это мне ни стоило!

– Но какую же цену будет иметь для вас обладание мной? Если бы, положим... – Она на секунду задумалась, и в глазах ее мелькнуло что-то недоброе, жуткое. – Если бы я разлюбила вас, если бы я принадлежала другому?

Все тело мое пронизала дрожь. Я поднял глаза на нее – она стояла предо мной сильная, самоуверенная, и глаза ее светились холодным блеском.

– Вот видите, – продолжала она, – вы пугаетесь одной мысли об этом!

И лицо ее вдруг озарилось приветливой улыбкой.

– Да, меня охватывает ужас, когда я представляю себе, что женщина, которую я люблю, которая отвечала мне взаимной любовью, может без всякой жалости ко мне отдаться другому. Но ведь у меня нет выбора! Что же делать, если я эту женщину люблю, безумно люблю! Гордо отвернуться от нее – и в горделивом сознании своей силы погибнуть, пустить себе пулю в лоб?

Я ношу в душе два идеала женщины. Если мне не суждено найти свой, благородный, ясный, как солнце, идеал – верную и добрую жену, готовую делить со мной все, что определено судьбою, – я не хочу ничего половинчатого и бесцветного, я предпочитаю отдаться женщине, лишенной добродетели, верности, жалости. Такая женщина, в ее эгоистическом величии, – мой второй идеал. Если уж мне не дано изведать счастье любви, во всей его полноте, я хочу испытать до дна причиняемые ею страдания, муки; хочу, чтобы женщина, которую я люблю, меня оскорбляла, изменяла мне... и чем более жестоко, тем лучше. И это – наслаждение!

– В своем ли вы уме! – воскликнула Ванда.

– Я так люблю вас – всей душой, всем существом своим! – что я могу жить – если мне суждено жить далее – только вблизи вас, дыша одним воздухом с вами. Выбирайте же какой вам угодно из двух моих идеалов. Делайте из меня, что хотите, – своего мужа или своего раба.

– Хорошо же! – сказала Ванда, нахмуривая свои тонкие, но четко очерченные брови. – Иметь человека, который меня интересует, который меня любит, всецело в своей власти, – полагаю, это должно быть занятно; по крайней мере, в развлечениях у меня недостатка не будет. Вы были так неосторожны, что предоставили выбор мне. Так вот, я выбираю: хочу, чтоб вы были моим рабом, я сделаю из вас игрушку для себя!

– О, сделайте! – воскликнул я со смешанным чувством ужаса и восторга. – Брак может быть основан только на полном равенстве и согласии, зато противоположности порождают самые сильные страсти. Мы с вами – противоположности, настроенные почти враждебно друг другу. Отсюда столь сильная любовь моя к вам, частично смешанная с ненавистью, частично – со страхом.

Но при таких отношениях одна из сторон должна быть молотом, другая наковальней. Я хочу быть наковальней. Я не могу быть счастливым, взирая на ту, которую люблю, сверху вниз. Я хочу любить женщину, которую смогу боготворить, – а это допустимо только при условии, что она будет жестока ко мне.

– Как можно, Северин! – воскликнула Ванда почти гневно. – Разве вы считаете меня способной поступать дурно с человеком, который любит меня так, как любите вы, – которого я сама люблю?

– Почему ж нет, если я оттого буду лишь сильнее боготворить вас? По-настоящему любить можно только то, что стоит выше: женщину, которая подчиняет тебя властью красоты, темперамента, ума, силы воли, – словом, ту, что станет твоим деспотом.

– Вас, значит, привлекает то, что прочих отталкивает?

– Да, это так. В этом я не похож на других.

– Что ж, в конце концов, во всех наших страстях нет ничего исключительного и странного: кому же, в самом деле, не нравятся красивые меха? И кто же не знает и не чувствует, как близки друг другу сладострастие и жестокость?

– Но во мне все это развито в высшей степени.

– Это доказывает, что над вами разум имеет мало власти и что у вас мягкая, податливая, чувственная натура.

– Разве и мученики были натуры мягкие и чувственные?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.